

Андрей Битов

РЕЧЬ, НЕПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ВРУЧЕНИИ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ

Спрашивают: - Что дала писателю гласность?

Огрызаюсь: - У нас бы ни один журналист не посмел мне задать такого вопроса.

- Почему? - незамедлительно спросит корреспондент западный.

- А вот потому.

Между тем, в этом диалоге и располагается начало ответа на вопрос первый. Почему на пресловутом Западе, опередившем нас по всяческому уровню, от которого вы ждете в связи с этим и большей тонкости, вас озадачат вопросом куда более примитивным, чем на вашей недоразвитой родине? Потому что его интересует не вы (а вы-то надеялись, что это связано с вашей славой ...) и даже не то, что вы ответите, не то, как вы можете блеснуть или загнуть, - его интересует читатель, на которого он работает, он знает его вкусы и потребности, его заботит тираж. Он - профессионал, вы - нет, насколько бы лучше его вы ни писали. Его не колышет, понравится он вам или нет, сочтете ли вы его умным, ему нужен *материал*.

На Западе есть массовый читатель, он выработан так называемой "медией", она же выработана им. Работа на нее приносит максимальный доход. У нас любая работа принесет доход, потому что самой работы не хватает. У нас еще нет медики - у нас читатель лишь *широкий* и *узкий*.

Или уже никакого. Вот это и есть достижение нашей гласности, что от прежней жвачки он отказывается. Читатель начинает требовать того, что сам хочет. С этим приходится считаться. Наша гласность вырождается в публичность. Публичность публику. Публика порождает профессионализм.

Хорошо ли это? Кому как. Мне - НЕ хорошо. Хотя я целиком ЗА. Как такой же гражданин, как все. Но не как писатель (уже не "как все").

Потому что читатель наш растет сейчас и за счет *литературы*. Широкий поглощает в себя узкого. Вырабатывается новая форма, пусть и более цивилизованного, одичания. Кто читает сейчас наших великих классиков?

Скажут: некогда. А я скажу: не по силам.

Впрочем, и раньше признание их лишь объявлялось "признанием масс" с помощью юбилеев и монументов. Если бы такое всеобщее признание (корень - знание) существовало, мы бы давно жили в другой, изумительной России. Мы в ней не живем, мы лишь решили еще раз начать жить по-новому, на этот раз - по-человечески, к чему нас одни лишь классики и призывали. Но от того, что общечеловеческие ценности, в корчах, пытаются появиться не на бумаге, а в жизни, наша духовная культура не станет более массовой. Потому что она никогда таковой не была. Потому что она - для человека (лишь демократически - любого), а не для народа. Культура очеловечивает народ в каждом, а не во всех.

Эта традиция культуры, так полно выразившаяся в русской классике, никогда не была профессиональной, потому что никогда не была массовой.

Русский писатель мог писать, надеясь на деньги, даже ради денег, но за деньги, он ничего путного не написал. Он мог дать недостижимый для профессионала образчик литаретунной продукции, но не мог, не хотел, но и не умел пустить этот образчик в производство. Промышленная литературная продукция всегда находилась у нас на столь же низком уровне, как и сама промышленность.

Поэтому наша литература столь резко делится на великую и плохую.

Это давняя традиция, исторические корни. Профессионализм поэтов XVIII века - это не гонорар, а карьера по службе (Тредьяковский, Ломоносов, Державин). Во всем первый Пушкин стал настаивать на том, что литература может быть единственным занятием человека, много претерпел, внедряя это в сознание общества, но в нашем смысле слова профессионалом не был, ибо не мог обеспечить себя литературой, она всегда была лишь частью его доходов, а долги его покрыла лишь смерть. Однако он ввел в обиход "не продается вдохновенье, но можно рукопись продать". Это и по сию пору остается единственной возможностью русскому литератору слечь профессионалом, не теряя достоинства своего труда.

У нас никто не работал, как Бальзак или Диккенс, тем более, как Дюма. У нас поэты и романы не научились писать.

Скажут: Толстой, Достоевский ... Но Толстой, хоть и написал в длину больше любого профессионала, совсем не ЗА деньги писал. "Я всегда думал, что писатель пишет тогда, когда ему есть, что сказать, когда у него созрело в голове то, что он переносит на бумагу. Но почему я должен писать для журнала непременно в марте или декабре, - этого я никогда не понимал." Это его слова. Достоевский - другое дело, ему были нужны деньги. Долгами он оправдывался перед коллегами за

нескожую небрежность и неотделанность своего письма. Но денежные обстоятельства, столь мучительные для Достоевского-человека, были его способом извлечения сверхмощного, взрывчатого, прямо-таки атомного потенциала творческой энергии для осуществления все-таки замысла, а не заработка. Чтобы написать за месяц "Игрока", надо было сначала проигратъся, а потом заловить себя в невозможность возвращения аванса. Так что и Достоевский не вполне профессионал. Но он, а потом Чехов, - все-таки самые "профессиональные" из наших великих писателей. После них профессия писателя как бы утвердилась, то есть русское общество доросло до признания насущности этой профессии. Но тут революция еще раз поменяла порядок, и все настолько стало другим, что и профессия писателя, конечно.

Насильное социальное равенство породило профессионализм особого рода, так сказать, профсоюзный. Литература как занятие приравнялась к прочим интеллигентным профессиям, на уровне инженера, даже не артиста или ученого. Различие в зарплатке стало настолько незначительным, что качество или количество сделанного перестало быть рабочим принципом. Советские великие писатели опять перестали быть профессионалами, потому что работали уже не только не ЗА деньги, но даже вопреки им, с угрозой не только нищеты, но и гибели. Таковы были лучшие писатели, как Платонов или Мандельштам. Нарождался "новый" профессионализм - официальный: писать то и так, чтобы понравиться власти. Попытка соблюсти этические и эстетические принципы, преподанные нам классиками, сначала не приводили к добру, а потом и к результату - культура была утрачена.

Идеализм в подходе к задачам литературы однако утрачен не был. Писатели по-прежнему делились на очень хороших и очень плохих, но уже по идеологическому принципу более, чем по-литературному, не как художники, а как люди.

Борьба подменила собою искусство.

Делеемые свободы, демократия и гласность казались счастьем точно так, как любовь, не в практическом, а в недостижимом смысле. Запрет снимает ответственность. Что свобода и демократия оказались не благом, а работой, стало великой фрустрацией для нас, потому что мы обнаружили себя еще более несвободными, уже внутри, а не снаружи. То же и гласность для писателя.

Если все можно, то что же нужно?

Если жизнь с течением времени (безусловно, достаточно долгого) станет более человеческой и нормальной, то окажется что великая русская литература, наконец сыграла свою роль. Какое же место займет наша литература в обновленном обществе? Ведь не исчезнет. Литература

не исчезает, она вечный спутник жизни. Но наша литература настолько привыкла к великой и первой роли (хотя бы в идеале), что занять более спокойное место в ряду нормальных человеческих занятий ей будет нелегко. "Что бы я ни делал, даже если бы я таскал на плечах лошадей, все равно никогда я не был трудящимся!" - восклицал Мандельштам в "Четвертой прозе".

Поэтов с правом Мандельштама - один-два в столетие.

Что же делать остальным? Неужто стать профессионалами, то есть уметь что-то прозвезсти читабельным, удобоваримым, чистого качества, пользующеся успехом и спросом? А мы ведь так и не умеем писать раманы. Детектив наш безнадежен. С ужасом воображано, с развитиес свобод, появление порнографической литературы, не потому, что она развратит народ, а потому что у нее будет чудовищно низкий уровень.

Не знаю, чем мы будем кормить нарождающуюся нашу публику, которую уже "на мякине не проведешь". Печь хлеб или повышать качество мякины? ...

Неужто не продавшись власти, пачать продаваться мамоне.

Как сохранить непрофессиональный принципа русской литературы? Я для себя иного уже не помыслю ... Поживем - увидим.

Сказано: Бог даст день, даст и пищу.

22 марта 90

Не знаю, у всех ли так или у некоторых, но я принадлежу к тем из тех и других, кто не замечает собственных страстей, пока они не минут. Я кажусь себе спокойным и равнодушным и даже переживаю то, как мало я переживаю. Позднее оказывается, что все это спокойствие и было крайней степенью потрясения.

Например, я уже достаточно давно знал и привык к мысли, что мне присуждена премия F.V.S. имени Пушкина; она была - моя, никто от меня ее не отнимет, оставалось - лишь получить. Равнодушный к предстоящей официальной процедуре вручения, я не мог, однако, сомкнуть ночью глаз. Я решил воспользоваться бессонницей и исполнить заказ *Süddeutsche Zeitung* - ответить на вопрос, на что нам Гласность. Я не сомкнул глаз и скоротал ночь. Я успел к утру. Каково же было мое удивление (удовольствие, удовлетворение?), когда доклад профессора Вольфа Шмида продолжил для меня ночной текст: премия была присуждена, в моем понимании, за тот самый непрофессионализм, о котором я бессонно рассуждал.

Но и это я осознаю почти два месяца спустя, глядя из окна *Guest-Haus'a Д-ра Тоерфер'a* на проплывающий по Эльбе паракход ...

19 мая 1990 года